

К. А. Степанян

КАТЕГОРИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ В РОМАНЕ «БЕСЫ»

К основной мысли этого доклада меня подтолкнула запись из подготовительных материалов не к роману «Бесы», а к следующему роману — «Подросток», и даже не к самому роману еще, а из «заметок, планов, набросков» начала 1874 г. Вот она: «Апокрифическое евангелие. (NB. Испытание дьяволово, глиняная птица перед нищими духом. Социалисты и националисты в Иерусалиме. Женщины. Дети)» (16; 5). Полное содержание этой многозначной записи я здесь прокомментировать не возьмусь, но вот на чем хотел бы остановиться: судя по этой записи, Достоевский был знаком с апокрифическим «Евангелием от Фомы» или «Евангелием детства», как его называют в отличие от другого, тоже апокрифического «Евангелия от Фомы», — но от Фомы Апостола, в то время как «Евангелие детства» принадлежит некоему Фоме Израильянину или Философу. Полное название его звучит так: «Сказание Фомы израильского философа о детстве Христа». Именно здесь есть эпизод, когда Иисус, играя с соседскими детьми, вылепил из глины дюжину воробьев и затем оживил их. Потом этот эпизод цитируется в повествованиях о Христе многих нехристианских авторов. Для тех, кто не читал этого евангелия, скажу, что здесь описаны детские годы Христа, от рождения до того события, которое описано и в канонических Евангелиях, когда Иисус, придя с родителями в Иерусалим на праздник, не вернулся с ними обратно, но остался в храме Отца Своего, беседуя со старейшинами и книжниками. По каким источникам Достоевский знал это евангелие, трудно сказать — все научные издания его на русском языке выходили уже после смерти писателя: первое из них в 1890 г., в Трудах Восьмого археологического съезда в Москве; но на немецком языке вышло в Лейпциге точно в 1876 г. и, возможно, в 1832 и 1853 гг. — какое-либо из этих изданий могло оказаться в руках Федора Михайловича. Правда, судя по тому, что здесь упоминается «глиняная птица» (одна, а не стая воробьев), возникает вопрос: не знал ли Достоевский так называемый «Тольдот Иешу» — созданное в раввинской среде анти-Евангелие, призванное разоблачить якобы «самозванца» Иисуса (там именно птица). Это вопрос очень интересный, но в данном случае его можно оставить за скобками. В вышедшей недавно в петербургском издательстве «Алетейя» 3-им изданием книге «Иисус Христос в документах истории», очень ценной по подбору материала, но, к сожалению, со страшно позитивистским комментарием, высказана, однако,

в комментариях очень ценная мысль: большинство апокрифических евангелий отличаются от Евангелий канонических тем, что в канонических главное (и в ходе повествования, и в смысловых акцентах) — благая весть, весть о спасении, которое принес Христос, а в апокрифических — различные чудеса, которые творил Иисус, его подвиги и победы над противниками и порой сказочные приключения, претерпеваемые Им, Его Матерью, Его братьями и сестрами, Иосифом Обручником¹. Так и в «Евангелии детства», но здесь все в гораздо более утрированном виде, можно сказать, что этот текст создан врагами христианства (исследователи усматривают тут языческие, гностические влияния, а также связь с игнорировавшей покаяние «теорией казней»). Мальчик Иисус здесь словно одержим одной мыслью: любой ценой утвердить свою власть и превосходство над людьми: каждого, кто вызывает его гнев или просто непочтительно относится к нему, он проклинает и тотчас лишает жизни, пользуясь тайным знанием; унижает учителей в школе, совершает чудеса и исцеления не из милосердия и сострадания, а главным образом для того, чтобы показать свое сверхъестественное могущество и через устрашение утвердить свое превосходство и добиться преклонения. И ни из кого не изгоняет бесов.

Что-то очень напоминало мне это повествование — и я вспомнил что: рассказ о жизни Ставрогина. Не буду здесь говорить об этом подробно, но большинство поступков Ставрогина направлены (осознанно или бессознательно) на то, чтобы выявить свое отличие от «обыкновенных» людей.

В записях Достоевского в Рождественский сочельник 1877 г., озаглавленных: «Memento. На всю жизнь» есть строка: «Написать книгу о Иисусе Христе» (17; 14). Такой книги Достоевский не написал, но два очень связанных между собой романа — «Идиот» и «Бесы» — представляют как бы два апофатических повествования о Христе: в первом «от обратного» показывается, что Христос — Спаситель не мог быть просто человеком, во втором — разоблачается докетогностическая идея о некоем всемогущем существе, абсолютно трансцендентном обычному человеку, равно порождающем из себя и добро и зло; показано, что такое существо может быть только источником и порождением зла.

О том, что в облике Ставрогина есть ассоциации с Мессией (особенно из апокрифических и нехристианских текстов), свидетельствует много деталей: и отношение к нему окружающих, и четырехкратное применение к нему в черновиках евангельского выражения «как власть имеющий» (11; 151, 154, 175), и практически вакантное место отца в его жизнеописании, и путешествия по таинственным заморским местностям (в данном случае подземные глубины Исландии, темно-мистический Египет и духовные высоты Иерусалима и Афона).

Осознаю, впрочем, всю зыбкость — пока — этой моей гипотезы, ибо если о христоподобии Мышкина говорилось немало, то о наличии подоб-

¹ См.: Иисус Христос в документах истории / Составление, статья и комментарии Б. Г. Деревенского. Изд. 3-е, исправленное и дополненное. СПб., 2000. С. 205, 221 (Серия «Античное Христианство. Источники»). О «Тольдот Иешу» — см. там же. С. 336–376.

ных ассоциаций применительно к Ставрогину — еще нет (между тем об этом можно говорить хотя бы уже потому, что Мышкин и Ставрогин — близнецы-антиподы, что не раз было замечено). Но оставляя разработку этой гипотезы на будущее, сейчас хотел бы сосредоточиться на другом. В чем причина такого сгущения зла в Ставрогине, что он является практически единственным «безнадежным» героем в мире Достоевского, как бы исключенным из сферы Божественного милосердия («изблую из уст Моих»), и как объяснить при этом загадку: именно Ставрогину поручено высказать (особенно в подготовительных материалах) важнейшие метафизические идеи в мире Достоевского, порой столь близкие или даже совпадающие с идеями самого автора (только вера в то, что «Слово плоть бысть», спасет мир — 10; 187–188 и др.), что и другие ставрогинские высказывания, уже явно антидостоевские, приписываются самому писателю?

В замечательной книге русского философа С. Л. Франка «Реальность и человек» говорится, что именно погружаясь в глубину своего «я», приближаясь к своей подлинной личности — образу Божьему, человек постигает ту субстанциональную основу, которая соединяет его с Богом и с мировым бытием, то есть обретает подлинную реальность. И это достигается не посредством познающего, направленного вовне сознания, а через ощущаемое всем нашим духовным естеством *соучастие* во «всеобъемлющем и всепронизывающем единстве первичной реальности» — «живой встрече с реальностью», когда наша личность встречается с Богом как с личным существом². И только действующий в согласии с этим своим истинным «я» человек свободен. Можно, конечно, в той или иной степени отгородиться от этой реальности, — но «в абсолютной замкнутости я сам уже перестаю быть „я“», «мое существование перестает быть „моим“ и тем самым перестает быть тем, что мы разумеем под „существованием“». Это положение С. Франк сравнивает с висением над бездной чистого небытия³.

Нечто сходное можно найти и у Достоевского. Для него тоже сущность веры состоит не в знании, не в приверженности некоей идее, пусть и самой правильной, а в непосредственном, личностном общении с Богом. И путь к такой встрече, к такому общению — не выход личности из себя, а погружение в себя, встреча со своим подлинным «я», овладение собой, то есть обретение подлинной свободы. Как говорил блаженный Августин, обращаясь к Богу: «Ты всегда был у меня; только я сам не был у себя»⁴. Не случайно важное место в предварительных планах «Бесов» занимал известный старообрядец (затем перешедший в единоверие) Голубов, его мысли о том, что спасение «в смирении и *самообладании* и что Бог и Царство Небесное внутри, в самообладании, и свобода тут же» (11; 131).

² Франк С. Л. Реальность и человек / Подг. А. А. Ермичева. Изд-во Русского Христианского гуманитарного института. СПб., 1997. С. 65, 175 (Серия «Из архива русской эмиграции»).

³ Там же. С. 96.

⁴ Цитируется по: Франк С. Л. Реальность и человек. С. 199.

Именно подлинность веры, единственно обеспечивающая подлинное реальное бытие человека, становится одной из главных тем и в подготовительных материалах к роману, и в самом романе. Разработка ее проходит четыре стадии. На первой (как мне уже доводилось писать в одной из предыдущих работ) в полемике с романом «Что делать?» Н. Г. Чернышевского и его «новыми людьми», Князь и Воспитанница (еще раньше — Шатов) должны были предстать подлинными «новыми людьми», «выдержавшими искушение и решающимися начать *новую*, обновленную жизнь» (11; 98)⁵. Затем в записях возникает Голубов и его слова о смирении и самообладании. Вскоре следует запись «Голубова не надо» (11; 135–136; март–апрель 1870 г.), и Князь «заменяет Голубова» (11; 136), то есть проводником идей Голубова становится Князь — будущий Ставрогин. И, наконец, на последней стадии Ставрогин становится тем, что он есть в романе: то есть местом обитания бесов, которые всё знают, но лишены любви и непосредственного общения с Богом, и потому знание об истинном устройстве мироздания вызывает у них только дурной страх.

Свидетельством реальности бытия человека является его способность к любовному соединению с другим существом. В этой связи показательно, что в произведениях Достоевского все случаи безлюбого физического сближения — в «Записках из подполья», в «Идиоте», в «Кроткой» — оканчиваются смертью (физической или духовной, или и той и другой) обоих «участников». Так дважды происходит и в «Бесах»: со Ставрогиным, Матрешей и Лизой. Надо еще отметить, что жизнестроительное в своей основе христианское таинство — брак — для Ставрогина является лишь замещением самоубийства, как он сам признается в своей исповеди. Ставрогин оказывается не способен к любви — ни к Богу, ни к человеку, к той любви, о которой говорит в финале романа Степан Трофимович (проделявающий противоположный ставрогинскому путь из тьмы к свету и постигающий в итоге истину не знанием, а сердцем): «Бог уже потому мне необходим, что это единственное существо, которое можно вечно любить...» (10; 505). Вера же Ставрогина (в ту пору еще Князя) сначала характеризуется Достоевским в подготовительных материалах так: «верит в Бога страстно» (11; 99), потом — «верит озлобленно» (11; 100); а под конец, «уклонившись» от всего и от всех, в том числе и от Бога, приходит к выводу, что «сам он — ничто» (11; 134).

Конечно, и Ставрогину окончательной редакции, как и всякому человеку в Божьем мире, дана возможность спасения. Ведь и ангелу Лаодикийской церкви, если вспомнить текст Откровения, не закрыт путь к Престолу Божию, если он приобретет «золото, огнем очищенное» — будет ревностен и покается. Мне представляется в этом смысле большой потерей исключение главы «У Тихона», ибо здесь чрезвычайно очевидна еще

⁵ См.: Степанян, Карен. «Мы на земле существа переходные...» (реализм в высшем смысле в романах «Бесы» и «Идиот») // Достоевский и мировая культура. М., 1999. № 12. С. 99–108.

не окончившаяся внутри Ставрогина борьба между его подлинным «я» и бесовской гордыней — страхом. А кульминацией этой борьбы становится сломанное Ставрогиным во время исповеди распятие (в тексте так называемого «Списка А. Г. Достоевской») и финал главы, когда Ставрогин забирает свои «листки» — свою исповедь — обратно: Тихон не рвет их, как это делают священники после исповеди в знак прощения грехов.

Фамилия *Ставрогин* (в ПМ возникающая впервые как подпись под письмом Тихону), как уже нередко отмечалось, может трактоваться и как производная от «ставрос» — крест, и как производная от «таврос» — печать. Можно сказать, что именно в момент разлома распятия происходит окончательный переход Ставрогина от своего крестного пути — к состоянию, отмеченному печатью сил зла. Но это — с учетом всех вариантов текста. А в канонической редакции этот момент наступает, видимо, — как я уже отмечал в упомянутой работе, — тогда, когда он в Петербурге «куда-то как бы спрятался» (10; 36) (ср. со спрятавшимся от Бога Адамом), его непостижимым образом увидел в далеком монастыре Тихон, а мать его, Варвара Петровна, с той поры стала носить черное⁶.

Знающий, но не верящий Ставрогин оказывается источником двух вроде бы противоположных, но на деле близких и равноразрушительных идей, которыми он заражает Кириллова и Шатова. Причем обе идеи эти имеют в своей основе истину, но, развиваясь вне божественного присутствия, искажаются и превращаются в сатанинские, смертельные. Первая из них — мысль о божественной природе человека, о его изначальной соприродности Богу, его божественной свободе и опять-таки изначальном отсутствии в Божьем мире зла. Но если при этом «исключить» Бога, возомнить, что Его нет, то человек обречен занять место Бога; здесь останавливался Фейербах, но не русское сознание, русское шло дальше: совершив (в своем сознании) подобную самозванную «революцию», человек обречен убить себя — таким только предельно честным образом заявив верховенство своей воли. Это путь Кириллова. Вторая идея — любимая идея Достоевского — о вере народа в свою богоизбранность, в частности, вере русского народа в то, что сохраненный им свет Православия ему суждено нести миру. И эта идея, лишённая божественного присутствия, превращается, как и первая, в химеру. Во-первых, вместо крестного, жертвенного, братского служения миру, как это понимал сам Достоевский, она превращается у Ставрогина и его адепта Шатова (и многих адептов по сию пору) в сведение Бога к атрибуту народности — отсюда тоже недалеко до фейербаховского бога как «синтетической личности человечества» (отмеч. Дж. Фрэнком)⁷. Так происходит дьявольская подмена теории служения теорией национального превосходства и даже фашизма, говоря современным языком, — что в общем-то неудивительно, ибо

⁶ Там же. С. 106.

⁷ Frank, Joseph. Dostoevsky: The Miraculous Years, 1865–1871. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991. P. 470.

обе эти идеи — Кириллова и Шатова — основаны на бесовской гордыне Ставрогина. Вот как это излагает сам Ставрогин: «<...> Мы разрушим пути Европы, облепившие нас, и они рассыплются, как паутина, и мы догадаемся наконец все сознательно, что никогда еще мир, земной шар, земля — не видали такой громадной идеи, которая идет теперь от нас с Востока на смену европейских масс, чтобы возродить мир (прямо «Скифы» Блока! — К. С.). Европа и войдет своим живым ручьем в нашу струю, а мертвую часть свою, обреченную на смерть, послужит нашим этнографическим материалом. Мы несем миру единственно, что мы можем дать, а вместе с тем единственно нужное: Православие, правое и славное вечное исповедание Христа и полное обновление нравственное Его Именем. Мы несем 1-й рай 1000 лет, и от нас выйдут Энох и Илия, чтобы сразиться с антихристом, т. е. с духом Запада, который воплотился на Западе. Ура за будущее» (11; 167–168).

Во-вторых, если считать, что вера основывается на *знании* (а не на живой встрече с Богом), то можно прийти к мысли, что верить может лишь непросвещенный человек, а с развитием просвещения вера идет на убыль и вовсе исчезает. Тогда (если считать, — что в принципе верно, — что без веры реального бытия человека и человечества нет) лучше сразу все сжечь (к чему и приходит, в итоге своих рассуждений, Ставрогин и на чем он сходится с Нечаевым–Верховенским). Вот как это изложено в подготовительных материалах): «**ГЛАВНОЕ.** Главная мысль, которою болен Князь и с которою он носится, есть та:

У нас Православие, наш народ велик и прекрасен потому, что он верует, и потому, что у него есть Православие. Мы, русские, сильны и сильнее всех потому, что у нас есть необъятная масса народа, православно верующего (категории силы и количества, далекие от христианства. — К. С.). Если же бы пошатнулась в народе вера в Православие, то он тотчас же бы начал разлагаться, и как уже и начали разлагаться на Западе народы, где вера (католичество, лютеранство, ереси, искажение христианства) утрачена и должна быть утрачена. Теперь вопрос: кто же может веровать? Верует ли кто-нибудь (из всеславян, даже и славянофилов), и, наконец, даже вопрос: возможно ли веровать? А если нельзя, чего же кричать о силе Православием русского народа. Это, стало быть, только вопрос времени. Там раньше началось разложение, атеизм, у нас позже, но начнется непременно с водворением атеизма. А если это даже неминуемо, то надо даже желать, чтоб чем скорей, тем лучше. (Князь вдруг замечает, что он сходится с Нечаевым, что все сжечь всего лучше)» (11; 178) — потом эта последняя мысль о том, что «гораздо лучше, умнее все сжечь» повторяется еще несколько раз (11; 179, 180, 186).

Здесь позволю себе небольшое отступление.

В своем докладе на прошлогодних Достоевских чтениях в Петербурге (ныне опубликованном в 15-ом номере альманаха «Достоевский и мировая культура») Г.С.Померанц настаивал на том, что процитированный выше текст из ПМ к роману «Бесы», где речь идет об исчезновении веры

по мере развития просвещения и о том, что разложение «силы Православием русского народа» есть, следовательно, лишь вопрос времени, — представляет собой, за исключением фразы «А если это даже неминуемо...», точку зрения самого Достоевского, что и доказывается, по мнению Г. С. Померанца, непосредственно следующими далее и ничем не отделенными от предыдущего строками, которые он называет «авторской заметкой»:

«Выходит, стало быть:

1) Что деловые люди, считающие эти вопросы пустыми и возможным жить без них, суть чернь и букашки, трава в огне.

2) Что дело в настоящем вопросе: можно ли верить, быв цивилизованным, т. е. европейцем? — т. е. верить безусловно в божественность Сына Божия Иисуса Христа? (ибо вся вера только в этом и состоит).

NB) На этот вопрос цивилизация отвечает фактами, что нет, нельзя (Ренан), и тем, что общество не удержало чистого понимания Христа (каголичество — антихрист, блудница, а лютеранство — молоканство).

3) Если так, то можно ли существовать обществу без веры (наукой, например, — Герцен). Нравственные основания даются откровением. Уничтожьте в вере одно что-нибудь — и нравственное основание христианства рухнет все, ибо все связано.

Итак, возможна ли другая научная нравственность?

Если невозможна, то, стало быть, нравственность хранится только у русского народа, ибо у него Православие.

Но если Православие невозможно для просвещенного (а через 100 лет половина России просветится), то, стало быть, все это фокус-покус, и вся сила России временная. Ибо чтоб была вечная, нужна полная вера во все. Но возможно ли верить?»⁸

Не говоря уже о том, что весь этот фрагмент вводится прямой отсылкой к Князю, что никакого стилевого или иного различия между началом монолога Князя и текстом, названным «авторской заметкой», нет (а напротив, сохраняется стиль и образ мыслей Ставрогина: «чернь и букашки», «трава в огне», «быв цивилизованным, т. е. европейцем»), о том, что для Достоевского была бы абсурдной мысль, будто просвещенному человеку невозможно верить (не был ли он сам одним из наиболее просвещенных людей своего времени — а его вере можно позавидовать!⁹), скажу о главном: ясно выраженное указание на совпадение подобных рассуждений Князя в определенной точке — а именно в предпочтительности

⁸ Померанц Г. С. Два порочных круга // Достоевский и мировая культура. СПб., 2000. № 15. С. 10, 11.

⁹ Желаящие умалить или вовсе оспорить веру Достоевского любят ссылаться на его собственные признания о «неверии и сомнении», «горниле сомнений» и т. п. Но, как очень точно ответил на подобные суждения С. И. Фудель: только в подобном «огне сомнений», — связанных, кстати, не с существованием Бога, а с постижением божественного миропорядка, — очищается «золото истинной веры» (Фудель С. И. Наследство Достоевского / Общая редакция, вступительная статья, подготовка текста и примечаний Л. И. Сараскиной. М.: Русский путь, 1998. С. 34).

тотального уничтожения всего живого — с взглядами Нечаева–Верховенского могло ли быть случайным, не знаковым? И почему Г. С. Померанц считает эти слова не выражающими мнения Достоевского («очевидно <...> так не думал») и лишь «необходимыми сюжетно», а все остальное — в равной мере выражающим точку зрения Ставрогина и Достоевского? Я поостерегся бы так сформулировать мысль исследователя, но на той же странице он это делает сам: «Порочный круг, в котором вращается мысль Ставрогина, — это круг мысли самого Достоевского» (Там же). Такого давно не приходилось читать.

Порочный круг *Ставрогина* продемонстрирован именно как таковой самим Достоевским: Ставрогин (а за ним и Шатов) в тех же подготовительных материалах вынужден метаться в антиномиях, сам же разрушая свои построения и вновь возвращаясь на прежние позиции. За сведением Бога к атрибуту народности почти тут же следует фраза: «Славянофил думает выехать только свойствами русского народа, но без Православия не выедешь, никакие свойства ничего не сделают, если мир потеряет веру» (11; 186). А за рассуждением о гибельности, якобы, просвещения для веры — такое рассуждение: «Апокалипсис. — Сообразите, что значит зверь, как не мир, оставивший веру; ум, оставшийся на себя одного, отвергший, на основании науки, возможность непосредственного сношения с Богом, возможность откровения и чуда появления Бога на земле» (Там же). И вслед за ним опять — можно ли веровать «умному и развитому» (11; 189) человеку?

И тут же еще один резкий поворот — утверждение, которое (невзирая на всегдашнюю высочайшую оценку Достоевским Евангелия) многие тоже пытаются приписать самому писателю¹⁰: «Князь: „Они все на Христа (Ренан, Ге), считают Его за обыкновенного человека и критикуют Его учение как несостоятельное для нашего времени. А там и учения—то нет, там только случайные слова, а главное, образ Христа, из Которого исходит всякое учение...“» (11; 192). Затем следуют рассуждения, под которыми, *казалось бы*, мог подписаться и Достоевский — «были бы все как Христы», исчезли бы «теперешние шатания, недоумения, пауперизм», выпады в отношении «наших публицистов», которые «всякую самостоятельность [России] <...> считают позором и смешным желанием» и не понимают, что «единое на потребу». Но дальше — расхождение с Достоевским: «и это единое Россия еще в 16 веке имела» (отношение Достоевского к России XVI века было сложнее), а заканчивается характерным уже для Ставрогина с его безмерной гордыней высказыванием: «нужно быть высшей организацией, чтобы это понимать» (11; 193). И через страницу — ясное формулирование решающего изъяна в рассуждениях Князя: это для него лишь умственные построения (отсюда столь невозможная вариатив-

¹⁰ Г. С. Померанц даже видит в них «выход из ставрогинского порочного круга, вернее, не выход, а переход из него в иной круг, тоже порочный, замкнутый, но уводящий от „Бесов“ назад, к „Идиоту“, и вперед, ко „Сну смешного человека“» (Цит. соч. С. 17).

ность), дом на песке, по известной притче Иисусовой (Мф. 7: 24–27): «И выходит, что Князь поражает Шатова идеей Православия, т. е. катехизисом новой веры, который надо принять во что бы то ни стало всякому новому человеку, а Архиерей говорит, что катехизис *новой веры* — хорошо, но вера без дел мертва есть, и требует не высшего подвига (высшего классицизма), а еще труднейшего — *труда* православного, т. е.: „Ну-ка ты, барин, способен ли на это?“

И князь сознается, что он барин, уверяет, что солгал, и отрекается от слов своих; в результате: *Ури*» (11; 195).

Здесь, мне кажется, сформулировано главное, что обязывает нас *ко всем вообще* высказываниям, приписанным Достоевским князю в ПМ, относиться с осторожностью. Ведь для истинно верующего человека «Слово стало плотью» означает не только воплощение Христа, но и то, что божественное Слово, если мы принимаем Его, входит в плоть каждого из нас, преображает нас, изменяет природу нашу. «Не все мы умрем, но все изменимся», — говорит апостол Павел о будущей жизни (1 Коринф. 15: 51), и этот процесс начинается уже сейчас. Достоевский это знал, об этом подлинном превращении в *новых людей* он много думал и в процессе работы над романом «Бесы», и в дальнейшем. Этот процесс и есть то «соприкосновение мирам иным», без которого, как он был убежден, никакие нравственные и религиозные идеи прочными быть не могут (27; 85). Как говорит старец Зосима: «вращенное (Богом. — К. С.) живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным; если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и вращенное в тебе. Тогда станешь к жизни равнодушен и даже возненавидишь ее» (14; 290–291).

Таким образом, обе истинные в своей основе идеи — о родственности человека Богу и о богоизбранности русского народа — оказываются, в таком своем «развитии», разрушительными и обрекающими на смерть и человека, личность, и народ, человечество (тот же Дж. Фрэнк проводит аналогию между Ставрогиним и «неописанной красоты юношей на черном коне», изображающем собою смерть, — из поэмы Степана Трофимовича¹¹, — за которым влекутся народы, а потом «какие-то атлеты» «с песней новой надежды» достраивают Вавилонскую башню, обладатель Олимпа бежит и человечество «начинает новую жизнь с новым проникновением вещей» — 10; 10). Но смертоносный исход неизбежен всегда, когда вера в идею заменяет веру в Бога. Собственно, любое поклонение идее есть бесовство, — ибо поклонение идее есть рациональное поклонение чему-то высшему, поклонение вне реального общения с Христом, — а тогда, значит, поклонение злу — Сатане. Говоря же метафизическим языком, в романе «Бесы» происходит разоблачение трех основных, пожалуй, ересей:

1) учения о ничтожестве человека и необходимости его подчинения шпорродному и трансцендентному божественному началу; в новое время

¹¹ См.: Joseph, Frank. Dostoevsky: The Miraculous Years. P. 476.

одна из очень популярных модификаций этого учения заменяет веру в Бога представлением о некоей разлитой в мироздании «высшей идее»;

2) пелагианства (начало самоутверждения человека как самостоятельной положительной инстанции бытия), выродившегося затем в «религию человечества» Огюста Конта, фейербаховского человекобога, в позитивистский гуманизм, утверждавший человека в качестве хозяина собственной жизни и всего мироздания, и в ницшеанство;

3) докетическо–гностической ереси: от внеположной миру «обычных людей», равнодушной к злу и добру фигуры Ставрогина исходят лишь зло и смерть, и, в конечном итоге, саморазрушение. Только Бог, однажды соединившийся с человеческой плотью и тем даровавший каждому человеку возможность такой встречи всегда, дает и человеку и всему миру подлинное бытие.